

символизирует неизбежную смерть для Мышкина — для того, который как другая половина Рогожина испытывает смертную казнь.

В заключение хочу еще раз коснуться влияния «Египетских ночей» на Достоевского. В «Египетских ночах» Клеопатра приказывает отсечь секирой головы тех, которые наслаждались ее любовью. Секира Клеопатры — оружие наказания за наслаждение. Один из источников образного сочетания «гильотина—трезубец—нож» можно найти в секире пушкинской Клеопатры.

Л. А. ЛЕВИНА

ДВА КНЯЗЯ

(Владимир Федорович Одоевский как прототип
Льва Николаевича Мышкина)

Вопрос о роли, которую сыграл Владимир Федорович Одоевский в жизни и творчестве Федора Михайловича Достоевского, до сих пор остается открытым, хотя в течение уже более чем 130 лет он неоднократно поднимался. Однако все попытки сопоставить эти две фигуры, как правило, исчерпываются упоминанием их в одном ряду или — максимум — простой констатацией существующей взаимосвязи. Едва ли не единственным исключением остается появившаяся свыше 20 лет назад статья Р. Г. Назирова.¹ Уже самих по себе отмеченных упоминаний и констатаций более чем достаточно для того, чтобы считать несомненным факт как личностного, так и художественного воздействия Одоевского на Достоевского, однако масштаб и характер этого влияния остаются неисследованными.

Между тем такая простейшая операция, как просмотр справочного аппарата академического собрания сочинений Достоевского, показывает, что имя Одоевского так или иначе появляется в его записях на протяжении всей жизни. Да и говорит же, наконец, о чем-нибудь тот общеизвестный факт, что в качестве эпитафии к *первому* своему произведению из всей русской литературы Достоевский выбрал именно строки Одоевского.

В данной статье я остановлюсь на одном, казалось бы, частном обстоятельстве, которое тем не менее весьма красноречиво свидетельствует о том, какое значение князь Одоевский как личность имел для Достоевского. Ни в коей мере не ставя под сомнение существующие гипотезы о возможных прототипах князя Мышкина (главным образом все, что в этом смысле говорилось о графе Г. А. Кушелеве-Безбородко), беру на себя смелость утверждать, что по крайней мере одним из его прототипов был Владимир Федорович Одоевский. Признаки сходства его с героем «Идиота» обнаруживают себя на всех уровнях: в чертах внешности, в деталях биографии, во взглядах Одоевского по самым разнообразным проблемам, переосмысленных Достоевским и преломившихся в его романе.

Что касается внешнего облика князя Одоевского, то он был чело-

¹ Назиров Р. Г. Владимир Одоевский и Достоевский // Русская литература. 1974. № 3.

веком небольшого роста, как и Мышкин, физически крайне уязвимым и болезненным, телосложения тщедушного. Правда, в отличие от блондина Мышкина, он был темноволос (скорее всего, темно-рус), однако глаза имел светлые, и, судя по портретам, к тому моменту, когда в его салоне появился Достоевский, он уже изрядно поседел и не производил впечатления человека темноволосого. Т. е. если физические данные князя Одоевского не позволяют говорить о непосредственном внешнем сходстве с ним князя Мышкина, то они и не контрастируют с портретом последнего, приведенным в романе. Здесь, по-видимому, может идти речь о сближении на уровне некоего типа внешности, которое во всяком случае оставляет возможности для дальнейшего сравнения.

Очевидные черты сходства просматриваются в биографии князя Владимира Федоровича и героя Достоевского. Как нетрудно выяснить из текста романа, князь Мышкин по материнской линии имел происхождение купеческое: в эпизоде обнаружения письма о наследстве недвусмысленно упомянута «родная и старшая сестра матери князя, дочь московского купца третьей гильдии» (8, 139). Что же касается матушки князя Одоевского, то многие биографы утверждают, что она была простолюдинкой и даже крестьянкой. Правда, М. А. Турьян (именно из ее исследования я предполагаю черпать факты биографии Одоевского) достаточно убедительно показывает, что княгиня Екатерина Алексеевна все же по происхождению была дворянкой, однако рода крайне захудалого: в московском доме ее семьи был, судя по описанию той же Турьян, был налажен, скорее, в духе небогатого купечества, нежели дворянства: «...на Пречистенке, у бабки-прапорщицы, был между тем свой мир. Здесь вели строгий счет каждой нажитой копейке, по-старинному усердно молились, продавали и покупали дома, давали в рост деньги и водились с незнатным, но оборотистым московским людом».² Так или иначе, а в обоих семействах — как литературного героя, так и реального человека — имел место явный мезальянс.

Кстати, хотя Одоевский, в отличие от Мышкина, большого наследства никогда не получал, он тем не менее то небольшое, что унаследовал и от отца, и от родни со стороны матери, роздал, подобно герою Достоевского, удовлетворяя претензии всех, кому не лень было таковые предъявить.

Ассоциацию с князем Одоевским подкрепляет и то обстоятельство, что князь Мышкин из всех героев Достоевского (во всяком случае — такого масштаба) наиболее тесно связан с Москвой. Хотя события «Идиота» разворачиваются в Петербурге, они сконцентрированы в двух отрезках времени, относительно непродолжительных по сравнению с периодом, прошедшим от начала романа до его конца. Соответственно дважды появляется в Петербурге и герой: первый раз — проездом из Швейцарии в Москву, второй — наездом из Москвы же, которая и оказывается основным по продолжительности местом его пребывания в России.

² Турьян М. А. «Странная моя судьба...»: О жизни Владимира Федоровича Одоевского. М., 1991. С. 19.

Аналогично и князь Одоевский, будучи одной из центральных фигур высшего света и интеллектуальной элиты Петербурга, тем не менее всю жизнь оставался москвичом: из Москвы он приехал в северную столицу, в Москву в конце концов и вернулся — всего лишь за несколько лет до появления «Идиота». Между прочим, в связи с переездом из Москвы в Петербург сам Владимир Федорович и его близкие тревожились из-за климата, который мог пагубно сказаться на и без того хрупком здоровье князя. Тревожились небезосновательно: петербургские зимы, особенно в первые годы, он действительно переносил достаточно тяжело. Вот и Мышкин в разговоре с дамами Епанчиными высказывает опасения относительно возможного вредного воздействия петербургского климата на свое здоровье (8, 47).

Кстати, о дамах Епанчиных. Княгиня Ольга Степановна Одоевская, урожденная Ланская, супруга Владимира Федоровича, была одной из трех сестер, состоявших с ним в дальнем родстве (точнее — в свойстве; впрочем, тут сложно определить характер и степень семейных отношений, ибо браки между представителями рода Одоевских и рода Ланских заключались неоднократно). В этой ситуации можно усмотреть аналогию с романной линией Мышкин—Аглая. В то же время некоторые обстоятельства первой встречи Одоевского с Ольгой Степановной и впечатление, которое она на него произвела, заставляют вспомнить также и линию Мышкин—Настасья Филипповна.

При первой же встрече с будущей супругой князь Одоевский был поражен тем, что лицо ее ему знакомо — оно не раз снилось ему перед каким-либо значительным событием в жизни: «Что за чудо со мною делается? Я наконец увидел наяву то существо, которое являлось ко мне во сне (...) я узнаю это существо, точно такая же уборка волос, точно то же образование лица, та же улыбка, тот же взор (...) Неужели это дело случая?»³ Сравним: «...такую вас именно и воображал... Я вас тоже будто видел где-то — Где? Где? — Я ваши глаза точно где-то видел... да этого быть не может! Это я так... Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне...» (8, 90). Тут надобно напомнить, что Одоевский был не чужд мистицизму, а мистически настроенным людям свойственно такого рода события своей жизни запоминать надолго и, более того, с той или иной степенью откровенности рассказывать о них. Так что этот нюанс биографии Одоевского в принципе вполне мог быть известен в его окружении, в том числе и Достоевскому.

Гораздо более странным выглядит очевидное сходство отношений Мышкина с Настасьей Филипповной и Одоевского — с Надеждой Николаевной Ланской. Роман этот был реконструирован М. А. Турьян, на суждения и аргументацию которой я в данном случае полностью полагаюсь. Надежда Николаевна, пожалуй, не уступала героине «Идиота» в смысле скандальности биографии. Об этой даме в мемуарах А. П. Араповой, урожденной Ланской (дочери Н. Н. Пушкиной от второго брака), сказано, что ее первый брак с Александром Михайловичем Полетикой «был расторгнут на основании *недействительности*»; второй же муж Надежды Николаевны Павел Петрович Ланской,

³ Там же. С. 97.

женившись на ней без согласия матери, «принес в жертву сыновнее повиновение женщине, с которой он считал себя *связанным долгом чести*»;⁴ История явно запутанная, однако рискну предположить, что с точки зрения общепринятой морали незаконный, недействительный брак Надежды Николаевны мало чем отличался от положения Настасьи Филипповны при Тоцком.

В 1842 г. вокруг имени Н. Н. Ланской разразился очередной скандал. Мать семейства, она бросила мужа и двоих детей и убежала из дому с младшим ее годами неаполитанским посланником Грифео. Одоевский долго не мог оправиться от этого удара, несмотря даже на последовавшую вскоре долгожданную поездку в Европу. А всего лишь три года спустя в его салоне появился начинающий литератор Федор Достоевский.

Точности ради замечу: было ли вообще кому бы то ни было известно об увлечении Одоевского Н. Н. Ланской, в высшей степени проблематично. Если же какие-то слухи все-таки ходили (тот факт, что они в этом случае не смаковались в письменном виде, вполне естествен, учитывая всеобщее глубокое почтение к князю Владимиру Федоровичу), то могли они дойти и до Достоевского, — разрыв во времени уж очень невелик. При таком допущении не приходится удивляться, что уже в 60-е гг. Достоевский, после известной развязки своего собственного романа с Аполлинарией Суловой болезненно переживавший ситуацию побега русской дамы с иностранцем (кстати, к этой ситуации близка судьба Аглаи в «Идиоте»), мог легко припомнить всю эту историю и связанные с ней ассоциации.

Если же Достоевскому все-таки не было известно об отношениях Одоевского с Ланской, то перед нами — одно из тех таинственных сближений, которые нередко встречаются в русской культуре.

Как уже было сказано, в начале 40-х гг. Одоевский предпринял путешествие по Европе, и в частности много времени провел в Швейцарии. Целью поездки было ознакомление с новейшими достижениями педагогики, каковой он в то время весьма увлекался, да и по службе ему приходилось заниматься вопросами образования. Именно со Швейцарией, как известно, связан и «педагогический» опыт Мышкина, причем высказывания обоих князей — реального и вымышленного — о детях во многом перекликаются. Как Одоевский, так и Достоевский через посредство Мышкина размышляет о недооцененных возможностях ребенка и о том, что дети и сами могут многому научить взрослых. Вот только Одоевский при этом делает акцент на интеллектуальной стороне проблемы, а Достоевский (Мышкин) — на нравственной.

Сравним: «Дети были лучшими моими учителями, и за то до сих пор сохранил я к ним глубокую привязанность и благодарность. (...) Стоило поговорить с ними несколько дней сряду, вызвать их вопросы, чтобы убедиться, как часто мы вовсе не знаем того, чему, как нам кажется, мы выучились превосходно»;⁵ — рассуждает Одоевский. И с другой стороны: «Ребенку можно всё говорить, — всё; меня всегда

⁴ Там же. С. 268. Курсив мой. — Л. Л.

⁵ Русский архив. 1874. Кн. 2. С. 318.

поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать (...) И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они всё понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет» (8, 58). — размышляет Мышкин.

Характерно, что в обоих случаях перед нами — соображения, основанные не на собственном отцовском опыте, которого ни у литературного героя, ни у его прототипа не было, а на впечатлениях от общения с чужими детьми.

Со Швейцарией связана еще одна небезынтересная в контексте рассматриваемой проблемы, но, к сожалению, практически неверифицируемая ассоциация. Дело в том, что Одоевского, увлекавшегося оккультными науками, алхимией и проч., эта страна влекла к себе еще и как родина великого средневекового врача и алхимика Парацельсия, которого он почитал своим учителем. Мышкин же жил в Швейцарии на попечении Шнейдера, который был ему одновременно и врачом, и наставником.

В то же время в «Текущей хронике» — дневнике, который Одоевский вел в течение последних десяти лет жизни, уже в 60-е гг. не раз встречается имя некоего Шнейдера. К сожалению, точно установить, кем же был этот человек и какова его роль в жизни Одоевского, мне не удалось, однако сам контекст упоминаний о нем позволяет предположить, что это был именно лечащий врач.

Сближает Мышкина с Одоевским и положение последнего отпрыска угасающего княжеского рода, причем в отношении Одоевского это обстоятельство было всем слишком хорошо известно и, что называется, на слуху ввиду исключительной его родовитости: на нем пресеклась старшая ветвь рода Рюриковичей. Впрочем, сопоставление в этом направлении можно развивать, не останавливаясь на одном лишь статусе «последнего в роде». Любопытно, что при первом же представлении героя, т. е. в ситуации, гарантирующей привлечение внимания и запоминание детали, Достоевский устами Лебедева говорит о происхождении Мышкина: «имя историческое» (8, 8). Само по себе это определение вроде бы и не представляет собой ничего из ряда выходящего. Однако, хотя оценки такого типа у Достоевского встречаются неоднократно: «великие и древние дворяне» Карамазовы (14, 77), «тысячелетние князья» Сокольские (13, 247) и проч., — характеристика «историческое имя» применена исключительно к Мышкину.

Дело, однако же, в том, что «историческое имя» — важнейшая категория сословного самосознания Одоевского, знак его принципиальной позиции, которому он придавал чрезвычайно большое значение. В «Записке об увольнении крестьян», которую Одоевский подал Александру II 7 января 1861 г., т. е. непосредственно перед изданием Манифеста, он утверждал: «Русский дворянин не пэр, не лорд и не аристократ, но лишь *историческое имя*, которое налагает на дворянина обязанность поддержать его почет верною службою Государю, отечеству, науке».⁶

⁶ Русский архив. 1881. Кн. 2. С. 489. Курсив мой. — Л. Л.

Это, в сущности, формула убеждений Владимира Федоровича, которые он, по его собственному свидетельству, никогда никому не навязывал, «но зато выговаривал их всегда *во всеуслышание*, весьма определенно и речисто».⁷ При таких условиях очень трудно представить себе, чтобы кто бы то ни было из знакомых Одоевского мог остаться неосведомленным об этой его позиции. Что же касается лично Достоевского, то косвенным свидетельством знакомства его с этим пластом взглядов Одоевского может служить один эпизод из романа «Подрасток» — разговор Версилова с уже упомянутым князем Сокольским. Дело в том, что рассуждения Версилова в некоторых моментах едва ли не дословно повторяют многие соображения Одоевского: «Но русский тип дворянства никогда не походил на европейский. Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи (...) Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты (...) Ну если уж очень того хотите, то дворянство у нас, может быть, никогда и не существовало» (13, 177—178).

Версилов, конечно же, не Одоевский, однако достаточно сравнить его размышления хотя бы с цитированным определением русского дворянства по Одоевскому, чтобы заметить параллели. Уже само по себе несколько педалированное упоминание науки в одном ряду с такими понятиями, как «честь», «доблесть», «свет» и т. п., в высшей степени не свойственное ни самому Достоевскому, ни его героям, напоминает о князе Владимире Федоровиче: его мировоззрение характеризуется именно такой системой ценностей — возможно, отличающей его от всех прочих того же масштаба деятелей культуры середины XIX в. В упомянутой «Записке об увольнении крестьян» Одоевский формулирует задачи дворянства как сословия на данном историческом этапе. Воздерживаясь от излишне пространного цитирования, позволю себе их резюмировать: дворянство должно, используя свой опыт, образование и проч., всячески способствовать процветанию отечества как в социальном смысле, помогая государю искоренять негативные последствия «крепостного состояния», так и в сфере науки и искусства.⁸ Чем не «подвиг чести, науки и доблести»?

О «безусловном равенстве перед судом и законом, без различия званий и состояний» Одоевский писал: «То, что я отстаиваю, считаю делом святым и разумным, а все проделки в исключительную пользу какой-либо касты — источником неисчислимых бедствий для России...».⁹ Снова те же категории, аналогичные оценки. А вот в отношении судьбы дворянских прав Версилов хоть и близок к Одоевскому, все же «не дотягивает» до него: «Но Дворянская грамота 1785 года

⁷ Там же. С. 493.

⁸ Там же. С. 490.

⁹ Там же. С. 493.

не дала ли каких *политических* прав дворянству? — пишет князь. — Ни единого. Пожалованные ему права касаются единственно: службы, суда уголовного и гражданского, имущества, дворянских собраний для выбора в местные должности и представления правительству о своих нуждах. Этим прав весьма достаточно. Уничтожение крепостного состояния не уничтожает ни одного из них...».¹⁰ Т. е. Одоевский полагал, что дворянство остается высшим сословием не вопреки потере прав, как считал Версилов, а потому, что потери этой на самом деле не было; отмена же крепостного состояния видится ему не ущемлением прав дворянства, а возвращением крестьянам прав, «им принадлежащих с незапамятных времен и ослабевших не по закону, но лишь по ложному толкованию закона».¹¹

Одоевский, кстати, полагал необходимым как-то обосновать эту проповедь: «Звание русского дворянина, моя долгая, честная, чернорабочая жизнь, не запятнанная ни происками, ни интригами, ни даже честолюбивыми помыслами, наконец, если угодно, мое *историческое имя*, не только дают мне право, но налагают на меня обязанность не оставаться в робком безмолвии...».¹²

Сверх того Одоевский придерживался весьма своеобразной точки зрения на специфику именно *русского* дворянства: «Со времен уделов никакого сходства между западным аристократом и русским дворянином. Удельная система весьма отлична от феодальной (...) В России не было ничего подобного (западноевропейским феодалам. — Л. Л.) со времен Василия Темного, а тем более со времен Иоанна III».¹³ Если Одоевский в соответствии со своими убеждениями противопоставлял дворянство и аристократию, причем даже попытки перевода последнего термина на русский язык считал бессмысленными (чтобы не сказать — немислимыми), то в устах западника Версилова такое противопоставление оказывается принципиально невозможным, а потому абсолютно идентичную по сути своей мысль он формулирует как отрицание существования именно дворянства.

Если Версилов — не Одоевский, то его собеседник князь Сокольский — тем паче. Более того: это своего рода анти-Одоевский, причем при максимальном внешнем сходстве. Он тоже Рюрикович и тоже последний в роде. Сам он говорит, что Сокольские «благородны, как Роганы» и в то же время нищие (13, 247). Князь Одоевский, между прочим, жил на скромное жалованье чиновника, а в мемуарах посетителей его салона мелькает наименование хозяина «Монморансу руссе» — «русский Монморанси».¹⁴ Заметим, что имена Роганов и Монморанси в качестве объектов сравнения и в смысле вызываемых ими ассоциаций совершенно идентичны. При всем при том князь Сокольский не только не разделяет изложенных воззрений — он аморален, преступен и к тому же «ужасно необразован» (13, 178).

¹⁰ Там же. С. 488.

¹¹ Там же. С. 486.

¹² Там же. С. 493. Курсив мой. — Л. Л.

¹³ Там же. С. 486.

¹⁴ Русский архив. 1878. Кн. 2. С. 445.

Поэтому-то он никак не «историческое имя», а «всею только» «тысячелетний князь» (13, 247).

Значение аналогий с князем Одоевским в «Подростке» может (и должно) быть темой отдельных размышлений, однако дальнейшее их развитие увело бы слишком далеко в сторону от нашего предмета. Итак, вернемся к «Идиоту». От отражения в этом романе деталей биографии Одоевского мы естественным образом перешли к преломлению его взглядов, которое отнюдь не исчерпывается скупым — через употребление понятия «историческое имя» — намеком на его самоопределение в качестве знатнейшего дворянина России.

Непосредственное влияние воззрений Одоевского дает о себе знать в рассуждениях Мышкина о католицизме. В бумагах князя обнаруживаем такие соображения по этому поводу: «Езуитская камарилла развращает народную нравственность, приучая народ бояться не суда и закона, но случайности, и смешивая в его понятиях добродетель с угодливостью и вывертливостью, а виновность — с несчастием, от которого можно отделаться разными средствами. Народ, потеряв нравственное чувство совести и следуя в этом примеру высших над ним лиц, теряет веру в добросовестность власти и ввергается первому встречному вожаку, который и сам не знает, куда он идет и куда ведет».¹⁵ По-видимому, именно в окружении Одоевского такого рода идеи начали обсуждаться впервые в России — за несколько лет до того, как в этот круг вошел Достоевский. А вот чего Достоевский уж точно не мог не знать, так это увидевшего свет всего лишь за год до его появления в доме Одоевского романа «Русские ночи», в котором также читаем: «Западный храм — политическая арена; его религиозное чувство — условный знак мелких партий. Религиозное чувство погибает! (...) Девять на десять так называемых римских католиков не верят ни в непогрешимость папы, ни в добросовестность иезуитов, и десять на десять готовы хоть на ножи за то и другое».¹⁶

Страстные филиппики Мышкина в четвертой части «Идиота» — практически о том же: «Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле (...) По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нем всё подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор всё так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, всё, всё променяли за лепги, за низкую земную власть (...) Ведь и социализм — порождение католицизма и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католицизму в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества...» (8, 450—451).

Характерно, что Мышкин здесь практически выступает рупором

¹⁵ Русский архив. 1874. Кн. 1. С. 346.

¹⁶ *Одоевский В. Ф.* Соч.: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 200.

идей самого автора. На страницах «Дневника писателя» Достоевский не раз обращался к теме гибели Запада вообще и западного религиозного чувства в частности: «Эта Франция, даже и потерявшая теперь, почти вся, всякую религию (иезуиты и атеисты тут всё равно, всё одно), закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды банютировке Собория самого Бога (...) Самый теперешний социализм французский (...) есть не что иное, как лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками» (25, 6—7).

В отличие от Достоевского, Одоевский не абсолютизировал именно религиозный аспект проблемы, связывая общее, как он считал, угасание Запада в той же степени с упадком науки и искусства. Он вообще был гораздо веротерпимее своего младшего современника и, констатируя факт определенного состояния религиозного чувства Европы, не склонен был при этом сосредоточиваться именно на противопоставлении конфессий. Тем не менее общность налицо. И Одоевский, и Достоевский (причем последний как от себя лично, так и устами Мышкина), трактуя мотив упадка изверившегося Запада, акцентируют внимание на перерождении религиозного чувства в политические течения.

И — словно по контрасту с этими мрачными мыслями о судьбе Европы — также в унисон с идеями князя Одоевского звучат слова Мышкина о предназначении России. В этом случае повторяется не только принципиальная позиция (правда, опять-таки с учетом акцентировки религиозного момента у Достоевского и отсутствия ее у Одоевского), но во многом даже и стилистика. Сравним. «Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали! (...) нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними...» (8, 451—452). Это — Мышкин. А вот — Одоевский: «О, верьте! Будет призванный из народа юного, свежего, непричастного преступлениям старого мира! Будет достойный взлелеять в душе своей высокую тайну и восставить светильник на свещницу (...) Где же ныне шестая часть света, определенная провидением на великий подвиг? Где ныне народ, хранящий в себе тайну спасения мира? Где сей призванный (...) где он?».¹⁷

И далее — Мышкин: «Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждуг от нас одного лишь меча, меча и насилия...» (8, 453). И снова — Одоевский: «В годину страха и смерти один русский меч рассек узел, связывающий трепетную Европу, — и блеск русского меча донныне грозно светится посреди мрачного хаоса старого мира (...) не одно тело должны спасти мы —

¹⁷ Там же. С. 201.

но и *душу* Европы!»;¹⁸ «Не бойтесь, братья по человечеству! Нет разрушительных стихий в славянском Востоке — узнайте его, и вы в том уверитесь; вы найдете у нас частию ваши же силы, сохраненные и умноженные, вы найдете и наши собственные силы, вам не известные, и которые не оскудеют от раздела с вами».¹⁹

Еще раз повторю: совпадение содержания тирады Мышкина и суждений князя Одоевского предопределено внутренним их родством со взглядами самого Достоевского. Оба писателя-мыслителя ощущали себя на грани великих эпох, на пороге некоей новой истории, в которой, как мечталось им, первую скрипку должна была бы играть Россия. «Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего; мы новы и свежи; мы не причастны преступлениям старой Европы; перед нами разыгрывается ее странная, таинственная драма, которой разгадка, может быть, таится в глубине русского духа»,²⁰ — пишет Одоевский в «Русских ночах», а спустя более 30 лет нечто весьма и весьма похожее появляется на страницах «Дневника писателя»: «...видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации» (25, 6); «А между тем на Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея (...) с разрешением Восточного вопроса вдвинется в человечество новый элемент, новая стихия, которая лежала до сих пор пассивно и косно и которая (...) не может не повлиять на мировые судьбы чрезвычайно сильно и решительно (...) Тут нечто всеобщее и окончательное (...) несущее с собою начало конца всей прежней истории европейского человечества...» (25, 9).

Достоевский — лично и через посредничество Мышкина — говорит фактически о смене цивилизации. Одоевский предпочитал пользоваться понятием «стихия», которое, впрочем, как нетрудно заметить, Достоевскому тоже было не чуждо. И если Одоевский предрекал появление аналогичного Петру Великому деятеля, который привил бы Европе необходимую ей дозу восточной стихии, подобно тому как исторический Петр привил недостающий западный элемент на русскую почву,²¹ то и Достоевский усматривал в петровской реформе предчувствие высшего предназначения России, залог готовности ее к осуществлению грядущей цели (26, 147).

Тотальный параллелизм, наблюдающийся во взглядах Одоевского и Достоевского по данному кругу вопросов, отнюдь не случаен. Да, конечно, идея мессианской роли, которую Россия должна сыграть в судьбе одряхлевшей Европы, была чрезвычайно популярна, равно как и представление о русской всечеловечности, общечеловечности (Достоевский) или всеобщности, всеобнимаемости (Одоевский). Разумеется, далеко не только эти двое размышляли над подобными вопросами: даже если говорить только о ближайших современниках, ряд Одоев-

ский — Достоевский следовало бы дополнить как минимум именем Гоголя (не говоря уже о некоторых других — не столь выдающихся — деятелях русской культуры). Это, однако, увело бы слишком далеко в сторону. Важно то, что Одоевский, по-видимому, первым из русских мыслителей начал эти вопросы ставить.²² В сущности, он был первооткрывателем некоего «третьего», т. е. не тождественного ни западничеству, ни славянофильству, пути отечественной общественной мысли. Кстати, это, должно быть, оказалось вовсе не легким делом в эпоху, когда трудно было, не будучи западником, не стать также и славянофилом, тем более при наличии дружеских связей со сторонниками этого лагеря.

Достоевский же, по всей вероятности, попав начинающим писателем в дом авторитетного князя Владимира Федоровича, просто не мог не испытать определенного интеллектуального влияния с его стороны. Тем более что в салоне Одоевского указанный круг проблем обсуждался. Тем более что Одоевский, вообще склонный к некоторому дидактизму, к молодым писателям — и это факт — относился наставнически, и, судя по тому, с каким почтением всю жизнь вспоминал о князе Достоевский, в его случае это наставничество не встретило неприятия.

Другое дело — насколько актуальными были для Достоевского впечатления от общения с Одоевским по прошествии многих лет. Рискну утверждать: вполне актуальными. Правда, не берусь объяснить, почему. Тем не менее могу указать по крайней мере два частных факта, недвусмысленно свидетельствующих о том, что образ Одоевского зримо и активно присутствовал в сознании Достоевского как раз в период работы над «Идиотом».

Во-первых, либо непосредственно в период работы над окончательной редакцией «Идиота», либо сразу по ее завершении Достоевский набрасывает план повести «Картузов», в одном из фрагментов которого читаем: «Однажды я ходил к его сиятельству почтенному и покойному князю О(доевско)му и носил раков (для объяснения), где я, встретив супругу их в кабинете, сумел и раскланяться, и объяснить мою причину весьма удовлетворительно» (11, 40). Предложенной в академическом собрании сочинений Достоевского расшифровке имени «О-му» как «О(доевско)му» нет ни малейших оснований не доверять. Прямое же упоминание о князе в рабочих материалах Достоевского, да еще в настолько подходящий момент, до такой степени красноречиво в контексте нашей темы, что даже не требует комментариев.

Второй факт — это не что иное, как один из «эпизодических персонажей» «Идиота», а именно тернеф Норма из сна Ипполита. Собака эта примечательна хотя бы потому, что Достоевский, судя по всему, животных не любил и имел о собачьих породах весьма смутное представление. По крайней мере, по прочтении его произведений складывается именно такое впечатление. Собственно, собаки у него, как правило, вообще предстают не живыми существами (и уж во всяком случае не четвероногими друзьями), а некими почти неодушевленными

¹⁸ Там же. С. 202.

¹⁹ Там же. С. 243.

²⁰ Там же. С. 202.

²¹ Там же. С. 242—243.

²² См.: *Рязановский В. А.* Обзор русской культуры. Нью-Йорк, 1948. Ч. 2, вып. 1; *Зеньковский В. В.* Русские мыслители и Европа. Париж, 1955.

объектами различных манипуляций. Их можно использовать как разменную монету в грязных интригах (собачка Альфонсинки в «Подростке»), их можно выбрасывать из окна вагонов, дабы досадить неприятным попутчикам (болонка из рассказа генерала Иволгина в том же «Идиоте»), и т. п. Даже в составляющих в этом смысле некоторое исключение «Братьях Карамазовых» упоминается несуществующая (или по крайней мере не поддающаяся идентификации) «меделянская» порода, а герои между тем дружно не могут отличить Жучку от Перезвона (т. е., судя к тому же по употреблению применительно к собаке личных местоимений, кобеля от суки).

Тернеф Норма в этом ряду — случай совершенно особый. Прежде всего, имеет место указание на вполне определенную породу — ньюфаундленд (по-французски *Tette neuve* — Новая земля). Не говоря уже о том, что это, пожалуй, единственный случай, когда Достоевский изобразил собаку действительно другом человека, он еще и описал ньюфаундленда достаточно адекватно: огромный, черный, лохматый. А ведь порода эта в России в середине прошлого века явно была чрезвычайно редкой, лучшее тому свидетельство — практически полное отсутствие упоминаний о ньюфаундлендах как в художественной литературе («Идиот» в этом смысле уникален), так и в мемуарах и проч. Невольно складывается впечатление, что в данном случае Достоевский описал конкретную, реальную собаку, где-то им виденную.

Так вот: такой пес был у Одоевского, упоминания о нем встречаются в личной переписке князя в конце 1860-х гг. Так, например, графиня Е. П. Ростопчина одно из своих писем заканчивает следующим образом: «Кланяйтесь много княгине, расцелуйте себя самого, пожмите благородную лапу Тернева, возьмите аккорды на *Савоське*, и все вместе, муж, жена, орган, Тернев, помяните любящую вас и проч. гр. Ростопчину».²³ Нетрудно заметить, что собака упомянута в таком контексте, в каком обычно пишут о членах семьи. Для тех, кто любит животных, это в принципе нормально, в семье же Одоевских было, видимо, и вовсе в порядке вещей: стареющие бездетные супруги вполне могли воспринимать пса почти как ребенка. Так или иначе, трудно представить себе, чтобы люди, приходившие в это время в дом, могли не заметить собаку.

Письмо Ростопчиной датировано февралем 1858 г., Достоевский же прибыл в Петербург из ссылки в конце 1859-го и у Одоевских наверняка появился вскорости. Если учесть, что из Семипалатинска он написал Одоевскому письмо с просьбой хлопотать за него (28₁, 205, 215), о чем сообщал другим своим корреспондентам, тревожась, хорошо ли князь принял просьбу (думаю, без особой натяжки можно предположить, что зря тревожился Достоевский: Владимир Федорович отличался удивительной способностью и готовностью помогать всем, кто в том нуждался, а уж талантливому писателю и своему давнему протеже — тем более), то элементарная вежливость требовала по возвращении в Петербург не затягивать с визитом. Так что он вполне мог встретить в доме князя его четвероногого любимца.

²³ Русский архив. 1864. Кн. 2. С. 849.

Особенно интересно само употребленное Достоевским слово «тернеф». Дело даже не в том, что Достоевский использовал французскую кальку названия английской породы, что в принципе не очень типично, а для самого писателя с его относительной лояльностью к Англии и полной нетерпимостью к Франции довольно странно. Но еще большее недоумение вызывает такой нюанс: почему Достоевский столь явно русифицировал французское слово? Во французском словосочетании *Tette neuve* на конце произносится неоглушаемое [в], и совершенно невероятно, чтобы Достоевский этого не знал или не учитывал. Кстати, Ростопчина именно «в» и пишет. Что же произошло в случае с Достоевским?

Думаю, что Федор Михайлович привык воспринимать слово «тернев» на слух, причем при обстоятельствах, не требующих непременно соблюдения французского прононса и допускающих характерное для русского языка оглушение конечного согласного. Питомец же Одоевского, как явствует из цитированного письма, носил кличку «Тернев». Что же соответствует описанной ситуации больше, нежели выкликание собаки: «Куш, Терне[ф]! Терне[ф], лежать!» — и т. п.? Так что отмеченная особенность написания слова «тернеф» лучше всяких других доводов доказывает: образ тернефа Нормы навеян впечатлениями, связанными с Терневом — собакой Одоевского.

Было бы безответственно утверждать, что Достоевский, садясь за письменный стол, чтобы писать очередные страницы «Идиота», имел сознательное намерение изобразить именно Одоевского. Однако личность князя Владимира Федоровича явно оказала влияние — может быть, подспудное — на его замысел. Тот факт, что эта фигура живо присутствовала в сознании писателя непосредственно во время работы над романом, думаю, не подлежит сомнению. Гипотетически суть этого влияния и этого присутствия можно определить примерно так: что-то же имел в виду Достоевский, предполагая изобразить в «Идиоте» «положительно прекрасного человека» (28₂, 251), должно же было нечто навести его на мысль, что такое в принципе возможно — хотя бы чисто теоретически.

Князь Владимир Федорович Одоевский, один из самых светлых людей в русской истории, всю жизнь всем и каждому помогавший, всю жизнь себя раздававший (равно как, кстати, и Мышкин; правда, последний — с гораздо меньшим успехом), если и не был «положительно прекрасным», то по крайней мере приближался к этому идеалу настолько, насколько это вообще возможно для нормального живого человека. За несколько лет до написания «Идиота» Достоевский прямо высказался о Владимире Федоровиче как о «честнейшем человеке и, главное, замечательнейшем деятеле», «которого все уважают и про которого во всю *честную* жизнь его никто не сказал ничего дурного, а даже совершенно напротив» (28₂, 18). Чрезвычайно красноречивой и ко многому обязывающей представляется и сама цель этой фразы — оградить Одоевского от критики на страницах «Времени», хотя, по признанию Достоевского, это и шло вразрез с позицией журнала, и всеобъемлющий характер безусловно положительной нравственной

оценки. Такое отношение к давнему знакомому и покровителю вполне могло быть психологической основой замысла положительно прекрасного героя.

Князь Одоевский скоропостижно скончался спустя сорок дней после того, как Достоевский поставил точку под заключением романа «Идиот», и этот факт — почти мистический. Словно душа Владимира Федоровича перетекла в одну из лучших книг писателя, которого он сам некогда благословил на большое будущее в литературе, и успокоилась, удовлетворившись таким памятником.

А. КОВАЧ

ИВАН КАРАМАЗОВ: ФАУСТ ИЛИ МЕФИСТОФЕЛЬ?

Являются ли герои или персонажи в романах Достоевского безличным выражением вечного, общечеловеческого, антонимического психологического потока, хлынувшего за пределы добра и зла? А если являются, то выражают ли эти герои эстетический идеал автора или кого-либо другого? Но кого именно?

Да, у Достоевского есть герои, характеры и типы, есть страстно утверждаемый идеал красоты. Судьба Дмитрия Карамазова, его раскаяние отвергают искушение идеала содомского и обещают торжество идеала подлинного. Все это есть у русского романиста, но у него все чрезмерно, своеобразно. У него не найдем, например, героя—типа—характера, определяемого координатами той или иной профессии, представляющего «голо» какую-либо социальную (классовую) категорию или сведенного к темпераменту, биологической основе личности. Да, для него человек бесконечно сложен, и неизвестно даже, во что может вылиться.

Подлинный герой Достоевского (а не все его второстепенные персонажи) может иметь, и по мере надобности имеет, такие типологические координаты, как биологическая обусловленность или темперамент, психологический, этнографический, национальный, социально-групповой или классовый, профессиональный или образовательный статус, наконец, архетипальное измерение. Следовательно, в принципе, целый ряд компонентов, а не только один из названных.

При этом нельзя забывать, что русский романист ввел понятие антигероя, концепцию исторического архетипа и идею враждебности искусству чрезмерного типизма. Имея перед своим духовным взором чистокровных гениальных художников — Шекспира и Пушкина, писатель помещал задуманных им самим героев в один ряд с их персонажами — в первый ряд «мировых образов».

А между тем в интерпретации героев Достоевского часто брал верх схематизм, определяемый предпочтением того или иного из названных компонентов человеческой личности — добра или зла, свободы или тирании и т. д. Или, наоборот, утеривалась всякая попытка выяснить, уразуметь, установить какую-либо «небывалую» типологию. Чрезмерно абстрактизированное положение Н. Добролюбова о наличии всего лишь двух типов героев — тирана и раба, унижающего и униженного, углубляло философскую мысль романиста, но компрометировало художественность произведения.